

**ДМИТРИЙ
ФУРМАНОВ**

ЧАПАЕВ

Дмитрий Фурманов

Чапаев

«Public Domain»

1923

Фурманов Д. А.

Чапаев / Д. А. Фурманов — «Public Domain», 1923

Роман «Чапаев» (1923) – одно из первых выдающихся произведений советской литературы. Писатель рисует героическую борьбу чапаевцев с Колчаком на Урале и в Поволжье, создает яркий образ прославленного комдива, храброго и беззаветно преданного делу революции.

© Фурманов Д. А., 1923

© Public Domain, 1923

Содержание

I. Рабочий отряд	5
II. Степь	13
III. Уральск	21
IV. Александров-Гай	27
V. Чапаев	32
VI. Сломихинский бой	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Дмитрий Фурманов

Чапаев

І. Рабочий отряд

На вокзале давка. Народу – темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые надели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того – это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот – с молодецкой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом – пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвалиться друзьям, родным и знакомым в таком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могучая черная рабочая толпа.

– Научатся, браток, научатся... На фронт приедут – там живо сенькину мать куснут...

– А што думал – на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

– Вон Терентия не узнаешь, – в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди тебе...

Козырь-мозырь...

– Фертом ходит, што говорить... Сабля-то – словно генеральская, ишь таскается.

– Тереш, – окликнул кто-то смешливо, – саблю-то сунь в карман – казаки отымут.

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

– Мать возьмет капусту рубить...

– Запнешься, Терешка, переломишь...

– Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

– Ага-га... го-го-го. Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин, – ткач, парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый, – оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку...

– Я... те дам, – погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

– Чего дашь, Тереша, чего?... – хохотали неумемные остряки. – На-ко семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный, – его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с быстротой, – дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

– Понадобится – черта вытащим из аду... Скулили все – обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она – ишь ты... – И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев. – Почитай, тыщу целую одели...

– Сколько, говоришь?

– Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается – и тем все нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда – подошло время-то он какое...

– Время сурьезное – кто говорит, – скрепляла хриплая октава.

– Ну как же не сурьезное. Колчак-то, он прет почем зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

– Эхе-хе, – вздохнул старина – маленький, шупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб.

– Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало, – пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

– Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое слово – тыща-то молодцов!.. Это, брат, *дело* – и большое дело, бо-ольшое!.. Слышно в газетах вон – рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек – он толковее будет другого-прочего... К примеру, недалеко ходить – Павлушку возьмем, Лопаря, – каменный, можно сказать, человек... и голову имеет – не пропадет небось!

– Кто говорит, известно...

– Да не то что мужики, – ты, вон она, на Марфушку на «Кожаную» глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, – она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

– Ты меня что тревожишь? – подошла она.

– Чего тебя тревожить, Марфуша, – сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас «Кожаная», а кобыла бесседельная...

– То есть я-то кобыла?

– Ну, а то кто? – И вдруг переменял шуточный тон. – Говорю, что на война ты крепко подошла... Вот что!

– Подошла – не подошла: надо...

– Ясное дело, что надо... – Он минутку смолчал и добавил: – Ну, а *там-то* – как?

– Чего – *как*?

– Дела всякие свои?

– Што ж дела... – развела руками Марфуша. – Ребят в приюты посовала, куда их деешь?

– Куда деешь... – посочувствовал и собеседник.

И, передохнув трудно, сказал соболезнующим грудным дыхом:

– Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время – и мы тогда... а?

– Так вот же... – кивнула Марфа, – да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

– И ребята, кажись, тово, – мотнул собеседник на вагоны.

– Чего ж им, – ответила Марфа, – только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать – одно слышать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! – окликнула Марфа кого-то из проходивших. – Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с густыми, темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунарной на голове, в истертой коричневой шинелишке, – это Андреев! Подходит четким шагом,

точно на доклад; поравнялся, щелкнул в каблучки, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами, – отрапортовал:

– Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

– Прощаться-то будем али нет? Ребята ждут, – слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

– Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

Марфа ударила по руке:

– Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепнулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

– Марфочка...

– А?

– Марфочка, – ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

– Чего это? – поглядела на него Марфа.

– Отчекрыжишь, поди, што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

– Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь – с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и брался, словно сам себе ногой на ногу наступал, – вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за, ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слышали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке – повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке, – это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом – Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

– Сейчас, надо быть, говорить станут.

– Отправляться скоро...

– Да уж раскланяться бы, што ли, – спать пора.

– А вот расцалуемся – и крышка.

– Слышь, звонок.

– Первый, што ли?

– Первый.

– В двенадцать трогать зачнут...

– В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, потертыми локтями; черные коротышки-тужурки – драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал неширок, народу вбирает в себя мало. Кто помышленее – зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, тара-

щили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах, цепляясь за карнизы. Иные заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продаться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, побряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков, – шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от *той* войны. Без перчаток мерзнут руки – он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный, – глуховат, несвеж, гудит словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово – он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы, – они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми – новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко – так он не кричал никогда:

– Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки – и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно – труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод, – не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы – ткачи и знать про то должны, что, чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских оренбургских снежных степях, – везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи – что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда – прощайте...

Словно буйным бураном завывала снежная степь, – толпа зарыдала ответным гулом:

– Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли – остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

– Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движеньем руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно примяла к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

– Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

– Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка – вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно – ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет – какая она будет война? Мы не

зря, рабочие-то, два эти года мучились – али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины: нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти – вот вам и весь сказ! Женщины – матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги – все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

– Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба – чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масляную кепку, в валяные сапоги – старый ткач. Морщилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости:

– Да, мы ответим... ответим... – Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседлую голову. – Собирали мы вас – знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши, – ничего, что тяжело, – скажем как раз: ступайте! Коли надо идти – значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить, – то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим – на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно внятно чмокнул: все равно-де, выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и – вовсе готовый уйти – крикнул слышным, резким голосом:

– Прощайте, ребята... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

– Может, тово... Всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

– Верно, отец! Правильно!! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останний раз на ящик:

– Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

– Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло – команда:

– Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, зашелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым залихватым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка, – другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа, – она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь – тысячелапый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатались...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго – не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок – кратчайший. Дорога мало затомила, – любви-дороги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой, высокой струной звенит настроенье: острота новизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках глухих полустанков. Что ни остановка – у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраниями, заседаниями, самодельными лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей-большевиков – толковых, строгих до себя ребят – весь путь пробороzdил глубоким и неожиданным впечатленьем. По станциям, по захламленным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням – мчалась в те дни неисчислимая «вольница», никем не учтенная, никем не организованная: разные отряды и отрядики, всякие «местные формирования», шальные, полутемные лица, шатавшиеся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная орава кормилась за счет населения: неоплатная, скандальная, самоуправная. Буйству воля была широкая, некому было то буйство взять под уздцы: власть Советская на местах по глуши не окрепла ядерным могуществом.

Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжело было человеку.

Лучшие люди Советской страны уходили на фронт. Другие маялись в бессменной иссушающей маете тыла. Где же было за всем присмотреть, все прослушать и все поделывать, что делать надо! По зарослям глухих провинций, в непролазной пуще сермяжных углов что творилось в те смутные дни – никогда никто не узнает. Горе людское остановилось страданьем в серых озерах глаз. Безответная, шальная, разгульная вольница сшибала на скаку ростки советской жизни и уносилась, хмельная и бесшабашная.

Старого нет – и нового нет. Где же голову приклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь?

Ах, большевики? Так это ихняя бражная вольница не дает покоя, так это от них наше лютое горе?

Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вила в те дни жгутовый аркан.

И все свое грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы – на большевиков:

– Грабители! Насильщики! Поганое племя!

И вдруг теперь в отряде, в этой тысяче большевиков-ткачей, увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали – за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел-деревень «послушать умного народу». Работа агитационная была проделана на ять, – она словно двери распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иванововознесенцы. И где их, бывало, где не встретишь: у китайской ли грани, в сибир-

ской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа, – где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память – как песня сложена по бескрайним равнинам советской земли.

Вот ехали теперь на фронт и в студеньих теплушках, в трескучем январском холоду – учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали: надо готовым быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой, знаньем, умением разом все понимать и другому так сказать, как надо. По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте – легкая, звонкая, красноперая:

Мы кузнецы – и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!

И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, – несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространства. Как они пели – как пели они, ткачи! Не прошли им даром и для песни подпольные годы! То-то на фронте потом, в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы и так бы их пели, – с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспаляли полки. Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!

Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб. Хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, привыкли считать, что хлебная корочка – великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебье, а в чем-то другом. И горько тут погоревали над общей безурядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебобродными местами, и словно мстили теперь в хлебном обилье за годы голода – торопились наверстать несъеденные пуды. Уж, кажется, надо бы было поверить, что, продвигаясь в самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и все там будет дешевле. Ан нет: не верилось, – голод отучил от такого легковерьья. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дешев и бел, – закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белей и дешевле: растерянно улыбались, шептались, смущенные, не знали, куда подевать свои сохнувшие запасы.

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, у беса на куличках, где только ржавые груды рельсов да скелеты ломаных вагонов, – высыпали на полотно, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу: куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут враз, али день-другой задержат в городе?

Все это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уж командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В той записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий Бочкин и Андреев гнали немедленно к нему в Уральск, а отряд направится им вослед. Он в теплых, сердечных словах приветствовал земляков, коротко познакомил с обстановкой, указал, какая всем большая и трудная предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму.

– Отправить... телеграмму отправить!

– И сказать спасибо! – крикнул кто-то.

– Не то «спасибо», – перебили голоса: – сказать, что приехали, что готовы на дело – куда какая помочь нужна! Во как!

– Правильно. Так и сказать: готовы-де на дело! И сказать, что все, как один, то есть в самом лучшем смысле!

– Айда, ребята, составляй телеграмму! Да здравствует Фрунзе, ура!

– Ура!.. Ура!.. Ура!..

Шапки, кепки, варяжские шлемы взметнулись над головами, закидались неладно в стороны, как галочья вспугнутая стая.

Федора в страстный жар кинул дружеский тон записки, – он ею потрясал смешно над головою, кричал, восторженный и наивный:

– Товарищи! Товарищи, – вот она, эта маленькая записка! Ее писал *командующий армией*, а разве не чувствуете вы, что писал ее равный совсем и во всем нам равный человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тону разве не чувствуете вы, как у нас от рядового бойца до командарма поистине один только шаг? Даже и шага-то нет, товарищи: оба сливаются в целое. Эти оба – одно лицо: вождь и рядовой красноармеец! Вот в чем сила нашей армии, – в этом внутреннем единстве, в сплоченности, в солидарности, – в этом сила... Так за нашу армию! За наши победы!

И снова красноармейцы в неистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «ура», выхлестывали радость, и гордость, и готовность свою, словно камушки в буйном шторме с морских глубин на морские берега.

Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали командира и наказали, чтоб был с отрядом готов к выступлению.

Назначенной четверке из реввоенсовета напомнили:

– В Уральск уезжать немедленно!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядниками. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоенсовета оттолкнулись две тройки: в первой сидели Федор с Андреевым, в задней – Лопарь и Терентий Бочкин.

Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной смесью кнут степной – и в снежный метельный порох легкие тройки пропали, как птицы.

II. Степь

Морозно поутру в степи. Возницы накругло укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые ворота от дремлющих седоков.

– Лопарь, озяб? – ссутулился к нему иззябший Бочкин.

– Гвоздит... до селезенки! – прохрипел уныло Лопарь. – Остановка-то скоро али нет?

– Кто ее знает, спросить надо приятеля-то... Эй, друг, – ткнул он в рыжую овчинную тушу. – Жилье-то скоро ли будет?

– Примерзли?

– Холодно, кум. Село-то скоро ли, спрашиваю?

– Верст семь, надо быть, а то... и двенадцать! – свеселил ездовой, не оборачивая головы.

– Так делом-то – сколько же?

– А сколько же! – веселым зубоскальем хахакал возница.

– Как ты село-то называл?

– Ивантеевка будет...

– А с Ивантеевки до Пугачева – далеко?

– Да што же там останется?

Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю. Помолчал минутку. Сообщил:

– Ничего, можно сказать, не останется: к Таволожке осьнатцать да от Таволожки двадцать две, – как есть к обеду на месте!

– А сам ты как – из Николаевки? – выщупывал Бочкин.

– Из нее, откуда ж ишо-то быть?

И в тоне мужичка послышалась словно обида. Какого, дескать, черта пустое брехать: раз в Николаевке брал седоков – известно, и сам оттуда.

– Ну, отчего ж, дядя? Может, и ивантеевский ты, – возразил было Бочкин.

– Держи туже – ивантеевский...

И дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

У мужичков такая сложилась тут обычка: привезет, например, какой-нибудь Карп Едреныч из Ивантеевки в Николаевку седока, а Едрен Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уже дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца, а передает седока Карпу, и тот на усталых лошадаках ползет-ползет с ним бог весть сколько времени. Тот ему потом, дяде-то Карпу, – услуга за услугу. Дядям это очень удобно, а вот седокам – могила: какой-нибудь двадцативерстный перегонишко тянут коротким шажком четыре-пять часов. И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата:

«Сверхсрочно... Без очередей... Экстренное назначение...»

Все эти ужасные слова трогали Карпов Едренычей очень мало, – они ухмылялись в промерзлый ус, добродушно, и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седока:

– Прыток больно. А ты потерпи – помереть успеешь... милай!

Терентий слышал про эту обычку возницкую, вспомнил теперь и понял, отчего так сладко и хитро причмокнул дядя.

– Знаю, брат, на обмен нашего брата возите...

– А то нет! – оживился возница. – Знаю, на обмен, – все оно полегше идет...

– Ну, кому как...

– Никому никак, а всем полегше... – рассеял он Терентьевы сомненья.

– Вам-то, знаю, легче... Кто про то говорит, – согласился Бочкин. – А нам вот от этих порядков – чистая беда: на заморенных не больно прокатишь, протащимся целый день...

– Это у меня-то замороженные? – вдруг обиделся возница и круто обернул тулуп спиношей, молодецки вскинул вожжами, с гиком пустил коней, только снег завихрил, запустил в лицо. – Эй вы, черти! Фью, родимые... Ага-а-а... Недалеко уж... Нн-о... соколики!

Мужичка не узнать: словно на гонках, распалился он над снежной пустынной степью.

И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороту, глухо заметил:

– Вот те и мореные!

– Лихо, брат, лихо, – порадовали его седоки.

– То-то, лихо, – согласился дядя и степенно добавил: – А што устамши бывают, на то причина – езда большая: свое справляй, наряды справляй, – дьявол, и тот устанет, не то што лошадь...

– А много, знать, нарядов? – любопытствовал Лопарь.

– Мало ли нарядов, – живо отозвался мужик. – Тут шатается народу взад-вперед – только давай... И чего это мечутся, сатаны, диву я даюсь: толь и шмыгают, толь и шмыгают, а все лошадей! И кому задержал – тыкву дать норовит!

– Так уж и тыкву? – усомнился Лопарь.

– А то што, – аль пожалишься кому?

– Врать-то вы больно, мужики, горазды, – сказал он серьезно вознице.

– Ну, сам соври получше, – чуть обиделся дядя, трудно повертываясь на облучке.

– Черт-те знает что! – в раж входил Лопарь. – Выдумает себе вот человек какую-нибудь историю, да и верит в нее... Верит себе и верит, – что ты станешь делать?

– Да... историю... – бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повернут был разговор.

– Били тебя самого-то когда? – спросил Лопарь.

– А нешто не били... Один такой вот, как ты, пашкой зубанул, сукин сын. Ладно, тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул...

– Чего он, пьян, што ли, был, дурак?

– А видно, што пьян...

– Ну, с пьяного и спрашивать нечего, – будто невзначай уронил Лопарь слова.

– Так я и не спрашиваю...

Терентию захотелось разузнать, как тут дела с Советами, – крепки ли они, успешно ли работают. Он перебил уклончивую речь возницы и стал задавать другие вопросы, но и здесь услышал ту же невязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался.

– А пуцай... всего бывает... Чего же нам теперь... – получал Терентий завитушки слов вместо серьезных и ясных ответов.

– Да не поймешь ничего, говори яснее, – не выдержал и раздражился Лопарь.

– Недогадлив больно, паренек. А ты подумай – может, и догадаешься...

– Нет, подожди ты, подожди, – остановил Терентий Лопаря, опасаясь, что тот сорвет беседу. – Что Совет-то, спрашиваю, хорош тут али не больно: делом ли занимается?

– А чего ему не делать-то, известно... Наряды вот Горшков только неправильно...

– Неправильно? – И Лопарь на живое слово кинулся, как кошка на мясо.

– Так а што ж: тестя небось кажин раз норовит обойти, а нашему брату, знай, подсыпает, когда и очердед-то нету никаких.

– А ты жаловаться бы, – подсказал Терентий. – В Совет иди, докажи, расскажи: ему, негодяю, живо усы-то подкрутят.

– Да, подкрутят, – упадочным голосом сглушил мужичок и безнадежно прихлопнул по крупу вожжами, – того гляди, подкрутят: сам как раз и угодишь, куда не надо...

– Ну, что это чушь-то молотишь? – осердился снова Лопарь.

– Не молотишь, а так точно навсегда, – сокрушенным голосом сказал возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону.

– Случай были? – крепко и прямо, словно следователь, спросил Терентий.

– То-то и дело, были...

– Ну, и что же?

– Ну, и ничего же, – повел мужичок заиндевелыми губами. – Было да и не было. «Жил да помер до сроку – всего и проку»...

– А молчали что? – вгрызался Лопарь.

– Да так и молчали, чтоб тише было... – невозмутимо и тонко пояснял хитроватый мужичок. – Как помолчишь – оно само отходит...

– Шутка шуткой, – отсек Лопарь, – а того... – И, словно спохватившись, прибавил добродушно: – Да, впрочем, убыток ли еще тебе ехать-то, дядя? В Советах вон бумажки висят везде: «Едешь – плати, што берешь – опять за все плати». Читал? Видал сам-то?

– Видал... пушай висит...

Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк, – он привык разговаривать в городе, с рабочими, в открытую, совсем по-иному, а так не умел: уклончивые, невнятные, хитрецкие ответы раздражали его не на шутку. Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова, а терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туманных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок.

В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор.

– Ты сам был, Гриша, у него в отряде? – спрашивал Федор парня.

– Так и ногу с ним навредил, – ткнул Гриша пальцем в сиденье. – Все лето по степям из конца в другой гоняли: они за нами охотят, а мы норовим, как бы их обмануть... *Чеха* – этот дурак, а вот *казару* не обманешь: сам здесь вырос – чего от его ждать?

Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо: мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда после волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый, широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в маслянистых морщинах, – ну, лицо как лицо: ничего примечательного! А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, *коренная*, настоящая. Грише было всего двадцать два года, а, по лицу глядя, вы дали бы ему и тридцать пять: труды батрацкой жизни и страданья с оторванной в бою левой ногой положили неизгладимые печати.

– Ну и что *он*, молодой? – любопытствовал Федор, продолжая начатый раньше разговор.

– Да, молодой совсем: тридцати годов, надо быть, нету...

– Из здешних, что ли, – казак?

– Какой казак... От Пугачева тут деревня будет Вязовка – в ней, надо быть, и жил. А другие говорят – в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет...

– Из себя-то как? – жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится проронить каждое слово.

– Да ведь што же сказать? Одним словом – герой! – как бы про себя рассуждал Гриша. – Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...» Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой, брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь – словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет, – любил усы-то, все расчесывался...

– Сидишь? – говорит.

– Сижу, мол, товарищ Чапаев...

– Ну, сиди, – и пройдет. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал – и будто радость тебе делается новая. Вот што значит *настоящий* он человек!

– Ну и герой... Действительно герой? – щупал Федор.

– Так кто про это говорит, – значительно мотнул головою Гриша. – Он у нас ишо как спешил, к примеру, на Иващенковский завод? Уж как же ему и охота была рабочих спасти: не удалось, не подоспел ко времени.

– Не успел? – вздрогнул Андреев.

– Не успел, – повторил со вздохом Гриша. – И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было – н-ну!..

Гриша тихо махнул рукой и опрокинул тяжелую голову...

В грусти промолчали целую минуту. Потом Гриша тише обычного сказал:

– По-разному говорят, только уж самое будет малое, коли две тысячи считать. Так их между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был – и женщины там, и ребята-тишки, ну, и старухи которые – одним словом скажу: всех без разбору. От как, сволочь...

Он слышно скрежетнул зубами и дернул за вялые вожжи.

– Видел сам-то? – пытал его Федор.

– Как не видать... Да уж и говорить бы не надобно... Што же тут видеть: кровь да мясо в грязной земле... Без разбору, подлецы, так на очередь и секли...

– Ну, а он-то как, сам Чапаев?

– Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, как конь во скаку. Шашку с размаху о камень полоснул: «Много будет, говорит, крови за эту кровь пролито! И веки не забудем, и возьмем свое!..»

– А взял? – серьезно спросил Андреев.

– Да как еще взял! – быстро ответил Гриша. – Он, словно чумной, кидался по степи, пленных брать не приказал ни казачишка. «Всех, – говорит, – кончать, подлецов: Иващенкин завод не позабуду!»

И опять помолчали. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу:

– А што ж, Гриша, у него за народ был, бойцы-то: откуда они?

– Так, здешние, кому ж идти? Наш брат пошел, батрак, да победнее который... Бурлаки опять же были, эти даже перее нас ушли...

– Што же, полк, што ли, чего у вас было?

– Да, был и полк, когда в Пугачах стоял, а потом все больше отрядом звали, – он и сам, Чапаев, полком-то не любил прозывать: отряд, говорит, да отряд, это больше к делу идет...

– Н-да... Отряд... Ну, а раненые с отряда, убитые у вас – их-то куда девали?

– Девали, – раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями. – Всяко девали: то не успеешь подобрать, этих казара докалывала, – небось, не оставит. А кого заберешь, – по деревням совали: тут у нас везде народ свой. И здесь вот бывали, в Таволожке. Да где не было – везде было...

– А лечили как?

– Тут и лечили, только лекарств, надо быть, не было никаких, а чем бабушка вздумает, тем и помогает... Коли другой в город сноровит – этому еще туда-сюда, а здесь-то по деревням – эге, как залечивали!.. Ну, и где же ей, бабе темной, ногу закрыть, коли от ноги этой жилочки только болтаются да кости крошенные в погремушки хрустят... Какой тут баба лекарь человеку?

– А были такие? – с дрожью в голосе справился Федор.

– Отчего же не быть: на то война!

– Вот правильно! – брякнул нежданно Андреев, все время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого али чем недовольный. – Верно говоришь! – повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине.

– Ну, известно, – смахнул тот весело рукой. – Всего бывало!

– Гриша, – перебил Федор, – Гриша, а питались по деревням же?

– По деревням... – осанисто ответил парень, видимо очень довольный, что так им интересуются. – С собой возили мы мало, – и где его возить, куда девать было? Тут все по деревням: они придут – они берут, мы придем – опять берем. Деревень кругом пятнадцать выходило, куда ни заверни!

– Да, тяжеленько было, – вздохнул и Клычков.

– Всем тяжело было... А нам рази легко? – подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно.

– Конечно, не легко, – торопливо поддакнул Федор.

– То-то и оно, – успокоился Гриша. – Всяко было! Мало ли што, – откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать, овса ли лошадям аль и лошадей сменить, коли своих неумоготу уморим: надо было... Раз надо, значит, давай – разговор короткий. И, думаю я, одинаково тут выходило, – што у нас, што у *них*... Чего выхваляться, будто очень все-де красиво загибалось? И некрасиво бывало... Ты целые сутки не жрамши, скажем, да с походу, а тут хлеба куска не дают, – где же она, красота-то, уляжется? Перво-наперво словом: дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш кажет. Дак в улыбку, што ли, с ним играть? Ну, тут под арест кого, а что пузо потолще – и в морду заедешь, где с им рассусоливать...

– Били? – затаил дыхание Клычков.

– Били! – ответил просто и твердо Гриша. – Все били, на то война.

– Молодец, Гришуха! – снова и весело сорвался Андреев.

Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду.

– А меня не били? – обернулся Гриша. – Тоже били... да сам Чапаев единожды саданул. Что будешь делать, коли надо?

– Как Чапаев, за што? – встрепенулся Федор, услышав (в который раз!) это магическое, удивительное имя.

– А я на карауле, видишь ли, стоял, – докладывал Гриша, – что вот за Пугачами, вовсе близко, станция какая-то тут... забыл ее звать. Стою, братец, стою, а надоело... Што ты, мать твою так, думаю, за паршивое дело это – на карауле стоять. Тоска, одним словом, заела. А у самого вокзала березки стоят, и на березках галок – гляжу – видимо-невидимо: га-гага... Ишь раскричались! Пахну вот, не больно, мол, гакать станете! Спервоначалу-то подумал смешком, а там и на самом деле: кто, дескать, тут увидит, – мало ли народу стреляет по разным надобностям? Прицелился в кучу-то: бах, бах, бах... Да весь пяток и выпалил сгоряча... Которых убил – попадали сверху, за сучки это крылышками-то, помню, все задевали да трепыхались перед смертью. А што их было – тучами так и поднялись... поднялись да и загалдели ядреным матом. Кто его знал, что *он* у коменданта сидит, Чапаев-то. Выходит – туча тучей.

– Ты стрелял?

– Нет, – говорю, – не стрелял: не я!

– А кто же галок-то поднял, хрен гороховый?

– Так, видно, сами, – говорю, – полетели!

– А ну, покажи! – и хват за винтовку. За винтовку хват – а она пустая.

– Што? – говорит. – А патроны где, – говорит, – возьмешь, сукин сын? Казаков чем будешь бить, колода? Галка тебе страшнее казака? У, ч-черт! – да как двинет прикладом в бок!

Молчу, чего ему сказать? Спыхватился, да поздно, а надо бы по-иному мне: как норовил это за винтовку, а мне бы отдернуть: не подходи, мол, застрелю: на карауле нельзя винтовку щупать! Он бы туда-сюда, а не давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил, все бы простил разом...

– Любил? – прищурился любопытный Федор.

– И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее. Навсегда уважал твердого человека, что бы он ему ни сделал: «Молодец, – говорит, – коли дух имеешь смелый...» Ну, а где

же все перескажешь? А вот она и Вантеевка, – обрадовался Гриша, пересел, как подобает вожнице, ударил звучно вожжами, сладко чмокнул, присвистнул и уж так беспокоился вплоть до самого села. Только раз обернулся:

– На Совет подвозить-то?

– Да, да, к Совету, Гриша.

– А то к Парфенычу бы, он вот про Чапаева расскажет...

– Кто это, Парфеныч-то?

– А из наших, в отряде же был раньше меня. Да руку ему оборвало напрочь, с тем и воротился...

– Здешний житель?

– Здешний, ну бесхозяйный же теперь, все начисто испортили казаки: избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили... Поправил, да плохо.

– Укажи, проезжать-то будем, – на всякий случай напомнил Федор.

– Укажу...

Въехали в Ивантеевку – большое, просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернет в берлогу – засыплет, закроет, снегами заметет. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для форсу на легкой рыси. В одну избушку ткнул пальцем, – это была Парфенычева изба. На другую показал, обернулся быстро, щелкнул молча себя по шее, ухмыльнулся: надо было, видимо, понимать, что в этой гонят самогонку. Подкатили к Совету; он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего правления. Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные, заиндевелые тулупы, зацепили под мышку и в руки свои корзиночки и узелки (жалкий скарбик: у каждого весом полпуда!), по ступенькам поднялись в помещение Совета.

Совет как Совет: просторный, нескладный, неприятный, грязный и скучный. Еще рано, в городе теперь еще никого не найдешь по учреждениям, а тут, гляди-ка, что народу напозло! И чего только они с этаких позаранок делать хотят? Притулившись к коричневой сальной стене, вертят сигарки, махорят, прованивают и без того несносный, кислый воздух; жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холодку рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами... Видно, что многие, большинство, может быть, все – толпятся без дела: некуда деться, нечего делать, – так и сползлись.

Увидя вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели, высказали разные соображенья насчет мороза, усталости, направления и цели поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про нехватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно «ни в каких смыслах».

– Здорово, товарищи, – обратился Лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь последним.

– Здравствуйте, – промычало несколько голосов.

– Председателя бы повидать...

– А вот сюда, – и указали на комнату в стороне за отгородкой.

Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четверки, вел переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться, перекусить. И прочее и прочее.

Андреев тулупа не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча дал закурить и тому. Терентий уж вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как Совет работает, довольны ли Советской властью, – словом, с места в карьер.

Федор полон был рассказами Гриши. Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана.

«Это несомненный народный герой, – рассуждал он с собою, – герой из лагеря вольницы – Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те в свое время свои дела делали,

а этому другое время дано – он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, у Чапаева, удаль и молодечество – главные в характере черты. Он больше именно *герой*, чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер. В нем преобладают, по-видимому, и возбуждены до чрезмерности элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений. Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Федор узнал от мужичков, как пройти к Парфенычу, и, когда Лопарь после разговоров с председателем Совета повел компанию чаевничать, Федор с ними не пошел, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу.

Часа через полтора уезжали из Ивантеевки. Федор сидел – молчалив и мрачен: Парфеныча не застал, тот уехал накануне в Пугачев. Андреев задал ему пару-другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но, увидев, что не клеится ничего, умолк. Терентий с Лопарем сидели-сидели, надумали песни петь. Дуэт был примечательный: Лопарь не пел, а только всхрипывал, Терентий визжал дичайшей фистулой. Получалось нечто жуткое, путаное и резкое. Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо, согласившись, смолкли. Продремали до самой Таволожки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей, тронули на Пугачев.

Уж при выезде из Таволожки мужики-возницы посматривали косо на черные сочные облака, дымившие по омраченному небу. Ветер дул резкий и неопределенный: он рвал без направленья, со всех сторон, словно атаковал невидного врага, кидался на него, как пес цепной, впивался, рвал остервенело, но каждый раз могучейшим пинком отшвыривался вспять. И снова кидался – и снова отскакивал, озленный, с визгом, с лаем, с гневным судорожным воем. По земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки: пути забило, наглухо запорошило снегом. Опускались и быстро густели буранные сумерки. Все настойчивее, крепче и резче ударял по бокам стервенеющий ветер, все чернее небо, круче и быстрее взвиваются снежные хлопья, мечутся в вихре иглами, льдинками, комьями прямо в лицо.

Как в норы кроты – глубоко в тулупы зарылись седоки. Чуть выглядывают возницы. От встречного ветра заходится дыханье, жгучим морозом опаляет лицо. Долго ехали – и чем дальше, тем пуше, вольней размахивался бешеный степной буран. Когда дорога пошла ложиной, по оврагу, на высоком берегу которого тянулся тощий кустарник, – тут как будто стало потише; но лишь выбрались вновь на равнину – тут буран бушевал, как буйный хозяин в пьяном пиру: все, мол, мое, и что искалечу, за то ответ не держу! Хмельно, весело, грозно было в буранной степи.

До Пугачева оставалось верст десяток. Навстречу колыхались караваны верблюдов, попадались отдельные ездовые, – верно, многие из них не доехали в этот раз до родных халуп: то вовсе погибли, то пролежали ночь в снегу; этих отрыли только наутро и кое-как отходили от смерти.

«Такого бурана, – рассказывали степняки, – не было уж много лет. Не иначе, – говорили, – бог послал его в наказание за холодные молитвы, за то, что храмы божиин народ забвенью отдает».

Говорили, – но уж видно было, что слова эти – пустые слова, одна *фраза*, ходячая и обычная, говорят же ее мужички больше для христианской вежливости, а сами ни на грош не верят тому, что говорят.

От бурана и на станцию посбилося народу изрядно. Когда подъехали ездоки наши и снежными комьями вывалились из саней – тут уж не отсылали одного разведчика Лопаря, а направились кто к станционному начальству, кто к коменданту, а милого Терешу наладили по вьюжным путям искать составы, которые норовят идти на Уральск. Это «разделение труда» было вызвано тем, что за время езды до Самары ребята стократ убедились, как сознательно и бессознательно, мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов:

если скажут, бывало, что состав идет «через час», – это уж, будь покоен, до завтрашнего дня не тронешься с места, а коли скажут «только наутро» – так и жди, что проскочит перед носом.

Долго ли, коротко ли искали, – наконец обрели вагонишко, в котором как раз до Уральска снарядилась группа политических работников. Дотолковались, изъяснились, вгрузились с вещишками. Но много еще пришлось помытариться, прежде чем добрались до Уральска: под Ершовом занесло пути, – вылезали, расчищали сугробы снегов, побранивались с комендантами, правдой и неправдой добывали дрова, согревали промерзлый гробик. Ползли медленно и тошно. Только что заехали за Ершов, случилось неладное с паровозом, – опять возня, опять высадка, долгое нервное ожидание. Потом с буксами не заладилось – и тут приостановка, опять заботы, хлопоты, подорожные ремонты, все новые-новые тревоги. От Пугачева до Уральска ехали целых два дня, а тут и пути-то – рукой подать!

III. Уральск

В Уральске со станции позвонили. От коменданта прислали двое розвальней, погрузились ребята со скарбишском, поехали в Центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный, в номерах и сыро, и грязно, и голо: не на что сесть, не на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако ж, приладились, осмотрелись, закрепили за собой номерок, – так вчетвером в одну комнату и вобрались: не хотелось дружкам разбиваться. После того как с морозу оглушили пару самоваров подряд, – бродили по городу, не знали, куда девать свободное время. Еще на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции – руководить открывшимся наступлением. В это время ближние позиции находились от Уральска всего в двадцати верстах, надо было торопиться отогнать неприятеля возможно дальше. Впрочем, эти первые бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не теперь, а только позже, – когда разработан был и более широкий, и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон: не только от Уральска, но еще и со стороны Александрова-Гая на станцию Сломихинскую и через нее вперез большому пути – Уральск – Лбищенск – Гурьев, – пути, по которому должны были гнать казаков красные части, наступавшие с севера.

Но об этом потом, потом; всему свое время, – к страдному пути от Уральска на Гурьев придется вернуться не раз.

У друзей наших были особые привычки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин очень любил писать письма, и почти всегда в этих письмах преобладали у него сведения хозяйственного порядка: разузнает непременно – где, что и почему, все это запомнит, опишет, сравнит...

Клычков – этот вел исправно дневник. В любой обстановке и при любых условиях изловчился и записывал самое важное. Не в книжечку, так на листках, иной раз отмечая на ходу, пристроившись к забору, – но уж все занесет непременно. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни проку.

– И чего ты, Федька, бумагу-то портишь? – скажет, бывало, Андреев. – Охота ж тебе каждую ересь писать? Да мало ли кто что сделал, кто сказал – разве все захватишь? А уж писать, так надо все, понял? Частицу писать не имеет смысла, один даже вред получится, потому как в обман людей введешь...

– Нет, Андреич, ошибаешься, – разъяснял ему Федор. – Частицу я усмотрю, да другой, третий, десятый... сложишь их – и дело получится, история пойдет...

– Так ты ведь там, черт, выдумываешь поди разную дребедень... какая история? – сомневался Андреев.

– Я же знаю, что к чему, – упорствовал Федор, испытывая острую неловкость от этого бесцеремонного напористого пристаиванья.

– Что ты знаешь? Ничего не знаешь, – осаживал Андреев, – пустяками занимаешься.

Клычков на эту тему говорить не любил и, зная андреевскую несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал вовсе и тем прекращал разговор.

Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал – не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себе ясного отчета.

Специальность у Андреева была иная – распознавать все дела по рабочему фронту; сюда его тянуло так же, как Терентия к письму или Федора Клычкова к своему дневнику. Андреев, может быть, даже и против воли, инстинктом, всем, с кем заново и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые вопросы: есть ли фабрики, давно ли построены, хорошо ли работают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы качеством, сознательны ли, чем, когда и как себя проявили и т. д. и т. д. Так и видно было рабочего, которого

тянет в родную среду, к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также общим положением, главным образом – богатством местности, населением, его составом и степенью надежности; впрочем, этими вопросами едва ли не в равной мере интересовались все четверо.

Лопарь был *спецом* по военным делам, – моментально распознавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки лучше, какие – хуже, что делается по политической работе с красноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут, что вообще за положение на фронте и т. д. и т. д.

Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но главным образом – позже, когда все четверо втянулись в настоящую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, у Андреева (рабочие центры попадались нечасто), у других, как у Лопаря, расширилось: но с этих же первых дней всем было видно одно: военные дела и интересы захватывали полней и полней, все решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и иные интересы, пока их не поглотили целиком.

Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, удивительная, совершенно особенная. Только и видны серые солдатские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки, – настоящий вооруженный лагерь. По улицам проходят красноармейцы колоннами, проходят, суетятся одиночками, скачут кавалеристы, катятся медленно орудия, величественно проплывают к позициям навьюченные караваны верблюдов. Кругом пальба неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть притихающая к ночи: одни «прочищают дуло», другие стреляют «дичь», у третьих «сорвалось случайно». Один военный специалист, высчитывая по секундам и минутам среднее количество этих шальных выстрелов, определил, что понапрасну в день растрачивается глупой этой стрельбой от двух до трех миллионов патронов. Верен ли расчет – сказать трудно, но стрельба была воистину бессовестная. Тогда еще не было в тех, в степных войсках, о которых идет речь, сознательной, железной дисциплины, не было кадров сознательных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преобразить, дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это пришло потом, а в начале 1919 года под Уральском бились – и лихо бились, отлично, геройски бились – почти сплошь крестьянские полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, да и то из них половина «липовых». В этих полках имела успех агитация, будто коммунисты – жандармы и насильники, будто пришли они из города насильно вводить свою «коммунию»...

Нередко в полках и так говорили, что «большевики-де – это товарищи и братья, а вот коммунисты – лютые враги»... Через два дня по приезде Клычкову пришлось даже публично кроить доклад на эту нелепейшую тему: «Какая разница между большевиками и коммунистами».

Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о большевиках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, особенно же остро она «дебатировалась» по окраинам: на Кавказе, на Украине, на Урале, в Туркестане и попала даже в Грузию.

Насколько сложное было тогда положение в полках, можно судить уже по одному тому, что благороднейший из революционеров, умный и тактичный Линдов, а с ним и целая артель большевиков – пали от руки своих же «красноармейцев».

Когда через несколько дней прибыл в Уральск Иваново-Вознесенский отряд в своих типичных «варяжских» шлемах с огромными красными звездами во лбу, когда он взял охрану города, по ткачам из-за углов открывалась хищная пальба: стреляли красноармейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю». Впрочем, уж очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются, – предубеждение разом пропало, выросли иные, дружеские отношения.

В самом Уральске коммунистов было немного: одни погибли в боях, других увели казаки, часть была еще раньше разогнана и распугана, часть осталась в строю. Работу больше вели приезжие большевики. Центральной фигурой был горняк-рабочий по кличке «Фугас» – благо-

роднейшая личность, любимый товарищ, испытанный боец¹. В противоположность ему и всегда вместе с ним состязался и упоминался некто Пулеметкин, паршивенький интеллигентик, политический фронт и позер, тоже коммунист, но из тех, которые по личной линии заслуживают искреннюю, острую неприязнь. Пулеметкин обнажался как честолюбивый бахвалишка, пустомеля и фразер, высказывающий всюду напоказ и стремящийся у всех завоевать популярность. Приезжая четверка раскусила живо «группировки» около Пулеметкина и Фугаса, прикнула к Фугасу и через несколько дней тесно с ним подружилась.

Когда, утомленные ходьбой, воротились теперь в свою нетопленную каморку и Терентий наполовину закончил традиционное письмо, сообщив, что «солянка с хлебом 5 рублей... черная икра за фунт 23...» – из штаба прислали вестового, сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги и айда. Пришли, но им тут все странно, все по-новому, необычайно: их даже не пропустили сразу, а пошли доложить. Кому? Михаилу Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не сон ли это? Какой черт сон: перед носом часовой стоит со штыком! Он смотрит вовсе не дружелюбно на приехавших молодцов, что пытались так бесцеремонно и самоуверенно проломиться в двери к командующему.

Потолкались минутку в коридоре, чувствовали себя неловко, старались не смотреть один другому в глаза.

– Проходите, – позвал кто-то.

Вошли. Встреча была радушной, простецкая, задушевно-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними все тот же простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу оправились от первой неловкости, а тут опять – новости. Около Фрунзе сидят военспецы – не какие-нибудь там «окунишки», а «леци» настоящие: полковники бывшие, генералы... И все-то они норовят сказать ему «так точно» да «никак нет», все-то изгибаются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что «дисциплина», что по-иному, быть может, и нельзя, но сами в тон попасть никак не могут: командующего чуть не Мишей зовут, не в лад с ним речи ведут, будто где-то у себя в партийном комитете... Полковники слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и настораживаются еще больше, как бы за компанию с приехавшими хлопцами самим не сорваться с нарезу, не нарушить субординацию. Так тут два лагеря и осталось до конца беседы: в одном – приехавшие хлопцы, а в другом – военные спецы. Фрунзе сообщил, какая обстановка сложилась на фронте, чего можно ждать, что целесообразней теперь предпринять на близкое время. Ребята добродушно хлопали ушами, тщетно силились упомянуть все, понять и представить пояснее: ничего не получалось. Во-первых, не знали карты, и потому станции и укрепленные пункты были для них пустым звуком; с другой стороны, понятия вроде «стратегия», «тактика», «маневренность» и прочие – усваивались только в общем, а ясно не укладывались в сознании.

Скоро спецы ушли, осталась свойская компания. Тут «музыка пошла не та»: планы расшифровывались подробно и откровенно. Федор посматривал сбоку на Фрунзе и недоумевал, – откуда у него эта ясность понимания в военном деле, отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик? Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит, – что за черт! А ведь давно ли был гражданской *шляпой*? Уже в те дни, на первых порах командования Фрунзе, сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты: легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному анализу и всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая – обоснованная.

Сидели – гуторили. Вспомняли родной Иваново-Вознесенск, общих товарищей, недавнюю работу. Разошлись только за полночь, а наутро Фрунзе срочно выехал в Самару, сказав,

¹ У живых – имена чужие, у погибших – свои.

что назначения пришлет оттуда, а до получения, дескать, придется побыть здесь, в Уральске, поработать в комитете партии. Эта случайная партийная работа заняла целых восемь дней, пока всех четверых не распределили по армии.

Меж собой толковали:

– Поизменился... Михайла-то Васильич...

– Надо бы... Работищи-то – пропасть...

– И пожелтел, осунулся, сердешный...

– Прозеленеешь, не то что... Вон они, части-то здесь – орава буйная, мало ли возни с ними будет? Приказали, говорят, уж не впервой окончить пальбу, а что вышло, ну-ка, послушай!

И ухом припали к окнам: за окнами ухала и звенела бесшабашная стрельба.

– Анархия, черт ее дери! – буркнул сердито Андреев, потом помолчал и уверенно, спокойно пробасил: – Не то ломали – все переkreим...

Подступили торжества 23 февраля – годовщина Красной Армии. Шевеление началось, как это водится, издавна, а работа, действительная организация праздника, проведена была и оформлена за три-четыре последних дня. Дотошному Лопарю уж на другой день по приезде было известно, что партийная организация из рук вон слаба, но с празднеством возиться, в сущности, некому и оно, пожалуй, прогорит, если не вмешаться кому-то активно, не взять дело в одни, в верные руки. Ревком сообщил Лопарю, что делом ведает партийный комитет; а пришел туда – отсылают обратно в ревком, ссылаются на какую-то несуществующую комиссию. По настоянию Лопаря быстро назначили собрание, пригласили рабочих представителей, но от ревкома опять-таки не явился никто. Лопарь решил действовать на свой страх и риск, объявил собрание действительным и правомочным, сообщил коротко о предстоящем торжестве и о невозможности дальнейшего промедления с его организацией, предложил избрать деловой исполнительный орган. В этот орган его избрали председателем, Андреева – секретарем. Дело стронулось с мертвой точки. Город разбили на районы, определили места, где будут собрания, открытые массовые митинги, лекции на тему дня, кто и где будет выступать, как использовать театр, кинематограф, оркестры... Снеслись с профессиональными союзами, вызвали оттуда рабочих, работниц, – одним поручили возиться с устройством трибун, других притянули к работе по листовкам, плакатам, очередному номеру «Яицкой правды»; женщинам-работницам вверили детей, которым предполагалось в этот день улучшенное питание, театры, кинематографы. В три дня все было готово. 23-го ранним утром на главную площадь стягивались со всех концов колонны рабочих – они собирались по профсоюзам. Они выстраивались рядами около трибун, в середину пропустили воинские части, к тому дню слегка подчищенные и пододетые. Площадь полна народом. Речи... Все речи и речи. Лучше всех, ближе и искренней принимают рабочие и бойцы простую, умную, краткую речь Фугаса. А за Фугасом, как водится, выскочил Пулеметкин и стал бестолково мять и жевать всем надоевшие и всем знакомые истины про «гидру контрреволюции»... Он мог болтать сколько угодно, если не оборвать, не одернуть... Проходит десять... двадцать... тридцать... минут – Пулеметкин все молотит. Его уже дергали дважды за полу – не помогает. Надоело смертельно. А день морозный, красноармейцы давно переминаются с ноги на ногу... Замерзли... Терпеть дальше нет возможности. Лопарь Пулеметкину сзади внушительно и явственно отчеканил:

– Если не перестанете сию же минуту, – я закричу «ура». Поняли?

Пулеметкин быстро оглянулся, блеснул водянистыми злыми глазами и, увидев решительное выражение на лице Лопаря, понял, что тот не шутит, – закончил торопливо, слез с трибуны, пропал в толпу. Речи – как речи... Такие речи в тот день говорились по всей Советской России... Вечер – как вечер... И вечера были, верно, по-одинаковому: с лекциями, спектаклями, сеансами...

От площади – по городу с красными знаменами, с революционными песнями. Пришли на могилу павших воинов, – и здесь стояла тоже трибуна: с трибуны говорили Фугас и Лопарь. Порывавшегося выступить Пулеметкина своевременно задержали и выступать ему не дали. Когда Лопарь вспомнил про товарищей, покоившихся в братской могиле, объяснил, за какое они дело погибли и как должны мы чтить их священную память, в ответ на его пламенные, полные свежести и силы слова – глубокое, сосредоточенное, долгое молчание. И вдруг – выстрел. Этот одинокий и, может быть, совершенно случайный выстрел – словно сигнал: сколько тут было частей – радостно все открыли «огонь по богу». Стрельба поднялась оглушительная, беспорядочная, – это вовсе не был торжественный салют. При желании в такой сумятице легко было «снять» какому-нибудь белогвардейцу стоявших на трибуне большевиков: этого в горячке никто бы не заметил и не распознал. А вниз спускаться – постыдно: так и простояли на вышке, пока не расстреляли красноармейцы свои патроны. Лопарь стоял бледный, как лунная тень, – в эти несколько минут он испытал могильный ужас. Никогда, никогда потом, даже в самой страшной боевой кутерьме не испытывал он этого смутного, скользящего, раздражающего трепета, в котором дрогло беспомощное тело. Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным, во власти слепых случайностей!

По Уральску День Красной Армии прошел, пожалуй что, и сносно, а как он прошел по области – кто его знает: директив дать туда путем не успели, только напомнили в общем, что следует делать. На фронт еще накануне выехали Бочкин с Федором Клычковым; они прихватили что можно было из литературы: юбилейный номер «Яицкой правды», воззвания, разные листовки. Воротились только глубокой ночью, разбудили спящих приятелей и с жаром рассказывали недоумевающим полусонным Андрееву и Лопарю, как прекрасно встретили их на «передовых позициях» (это произносилось с гордостью невероятной!!), как бойцы благодарны были за подарки, за память о себе, как слушали речи, просили приезжать снова. Сонные друзья отзывались тупо на эту восторженную речь. Андреев чертыхнулся спросонья и объявил, что ему надоели смертельно эти «охотничьи басни». Разговор явно не клеился. Скоро, за недостатком слушателей, рассказчикам пришлось умолкнуть, как ни велика была охота рассказать до «мельчайших подробностей» про свою красочную поездку на самые что ни есть «передовые позиции». Этим закончился для наших приятелей День Красной Армии.

В один из ближайших вечеров, после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму: Лопарю и Бочкину наутро ехать в бригаду!

Кончено! Приступила пора расставаться!

У всех состояние было особенное, прощальное, полное неожиданных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что двоим наутро, а двоим, может быть, – вслед за ними... Они же этого только и ждали! И все-таки были настроены все четверо по-особенному. У Лопаря и Терентия вдруг проявилась небывалая воинственность, словно они только и знали до сих пор, что воевали... Андреев был мрачнее обыкновенного, Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей.

Утром в саночки посадили Терентия с Лопарем, простились, расцеловались, – уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма: Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же, в дивизии; Федору Клычкову ехать в Александров-Гай, наладить там политическую работу в организуемой группе, начальником которой назначается Чапаев.

Как прочитал, так и обмер Федор, не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз, – сомнений нет никаких:

Чапаев ...

Ударило вдруг в виски, задрожала толчками кровь, он сразу слова не мог сказать от волнения.

«С таким героем... с Чапаевым плечом к плечу... как это удивительно все сложилось... Что-то выходит диковинное: то я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, совсем рядом, запросто, как теперь вот с Андреевым... Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем?.. Ух интересно, черт возьми, – вот сложилось!»

С того момента Федор полон был одною только мыслью, одним только страстным желанием – скорее увидеть Чапаева. И о чем бы ни заговаривал – сводил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом-Гаю нет, он туда только собирается ехать, но – все равно, все равно... В Александров-Гай надо спешить немедленно! И Федор не стал дожидаться следующего дня, собрался часа через три. С Андреевым простились по-приятельски, сердечно и просто. Федор уехал, Андреев остался в Уральске один.

IV. Александров-Гай

Федору наговорили, что поездом докатят его к Алгаю (так коротко звали Александров-Гай) чуть ли не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту – пересадки. Три пересадки – шутка сказать! Кто ездил в 1919 году по железным дорогам, тот поверит, что выдержать в пути три пересадки – дело мучительное и вовсе не легкое. По приблизительным подсчетам, подгоняя к средней норме, Федор установил, что поездка эта отнимет недели полторы. Поэтому передумал, слез в Дергачах, взял лошадей и тронул на перекладных; тут напрямик до Александрова-Гая полтораста верст.

И снова степь, просторы, голубые горизонты, беспредельные простыни снега... Кой-где уж появились проталины – чернеют бугорки обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем на солнце тепло: значит, скоро весна закружит хороводами. По степи села здесь редки: двадцать пять – тридцать верст одно от другого; живут они сытой, замкнутой жизнью; тут и невест по другим селам мало отдают, – обходятся восвояси, всех и на всех хватает вволю. Каждое село – будто небольшая республика: чувствует себя независимо, ни в ком и ни в чем не нуждается, имеет большую склонность к самостийности. Эти большие села, что приходится проезжать до Алгая, сыграли огромную роль в истории гражданской войны уральских степей: Осинов-Гай, Орлов-Гай, Курилово... Эти села дали не только отдельных добровольцев, – они дали готовые красные полки. Верно, что из этих же сел немало кулачья ушло и к белым, но остается несомненным, что перевес был всегда на красной стороне. Когда в Курилово ворвалась в 1918 году казара и, по указанию местных кулаков, начала выхватывать советских работников, – поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон и тогда же порешила создать свой особый полк: он был назван Куриловским. Примерно в подобной же обстановке созданы были и другие местные полки: Домашкинский, Пугачевский, Стеньки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они и создавались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные села; бойцами и командирами (комиссаров первоначально не было) являлись все свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная: тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения – в Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись, – один убежал с белыми, другой вступал красноармейцем в родной полк; бывали случаи и еще более разительные, когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины: одна к белым, другая к красным.

Все эти местные полки, созданные для обороны своих сел, скоро вынуждены были ходом событий оставить родные места, уйти глубоко в уральские степи, оттуда – на Колчака, от Колчака – снова в степи, из степей – на панский польский фронт.

В ряду других заслуженным, геройским полком считался Мусульманский, насчитывавший четырнадцать национальностей; преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатировавшиеся зажиточным туенядным казачеством, к которому питали неукротимую, жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела: без снарядов, без патронов, скверно и недостаточно вооруженные, раздетые, необутые – они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против Советской власти уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца; в отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы; слабая дисциплина, своеобразное понятие о «воле», длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив, поступавших из центра, – все эти признаки еще долго-долго

отличали от полков центральной России эти молодецкие добровольческие, сплошь крестьянские полки.

Александров-Гай мало чем отличается от других «гаев» – Орлова-Гая, Осина-Гая да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое: село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров-Гай был из ряду вон оживленным пунктом: здесь стоял штаб бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Бай-Турган и Порт-Артур, на Уральск – во все стороны шло оживленное движение, поддерживалась связь то с воинскими частями, то с руководящими центрами; непрерывно двигались повозки, уезжали и приезжали новые люди; куда-то спешили непоседливые кавалеристы, проползали на крестьянских подводах и качались на гордых верблюдах целые воинские караваны, увозили, привозили, разгружали, нагружали, – всюду была жизнь: так она, верно, ни до того, ни после не была в Александровом-Гаю. Местная «интеллигенция» у площади и по главной улице каждый вечер устраивала гулянья, наподобие ярмарочных, и тут, разумеется, не дремали красноармейцы, очаровавшие к тому времени добрую половину адгайского женперсонала...

Политический отдел бригады время от времени организовывал митинги как для красноармейцев, так и смешанные. На этих митингах освещался главным образом стереотипный «текущий момент». Жителей втянуть в политическую жизнь, разумеется, было потруднее, чем красноармейцев, – эти шли охотно, слушали внимательно, просили созывать их чаще, рассказывать больше и подробнее. Желание отличное, но осуществлять его приходилось не всегда и не только по недостатку политических сил, – нет, сил для тех мест и времен, пожалуй, было и достаточно, – часто созывать на митинги и собрания не позволяла военная обстановка: кругом казаки, налететь могут внезапно, застигнув в сборе массу невооруженных бойцов, могут наделать немало бед.

Во главе политического отдела стоял тогда петербургский рабочий, Николай Николаевич Ежиков, человек еще совсем молодой, лет двадцати двух, но зрелый, умный и серьезный. Ежиков был в то время и комиссаром бригады. В селе не только командный состав и красноармейцы, но и жители относились к Николаю Николаевичу с величайшим уважением. Его любили за простую, умную, ласковую речь, за то, что обещаний зря не давал, а раз сказавши, обещанное выполнял, за то, что в селе не было никаких беспорядков, и это по праву приписывалось его моральному воздействию на красноармейцев. А бойцы любили его – и всего больше любили за то, что в походах он был всегда с ними, в боях сам лежал и бежал в цепи, держался как равный товарищ.

Надо сказать, что в те времена – в самом начале 1919 года – вообще в Красной Армии не была еще развернута как следует политическая работа. Формы и методы ее были неясны, и многие из политработников, особенно же из младших комиссаров, были попросту наиболее сознательными бойцами, которые личным примером показывали, как надо воину Красной Армии терпеть голодуху, стужу без обуви и одежды, как надо выносить трудности и лишения изнурительных походов, как надо сражаться отважно, а при случае – спокойно, честно умирать. Непрерывные бои не давали возможности неделями и даже целыми месяцами повести хотя бы сколько-нибудь сосредоточенную и систематическую работу. Ограничивались случайными «политналетами», а *настоящую* политическую работу откладывали до более удобного времени. Под Александровом-Гаем обстановка была не хуже, не лучше, чем в других местах; резервы были крошечные, стояли они на отдыхе неподолгу, а главная масса бойцов неотлучно была на линии огня. Работники политического отдела, кроме тех, что вели «сидячую» работу, то и дело выезжали из политотдела на позицию, отвозили туда литературу, новые распоряжения, инструкции и руководства, сносились там с комиссарами, партийными ячейками, инструктировали тех и других; если удавалось, вели работу и среди красноармейцев, а если подходила нужда – оставив свои инструкции, брали винтовку и шли в бой. Как раз в те

дни, в самом начале марта, трое из сотрудников бригадного политотдела погибли в неравном бою, отступая по ложине с горстью красноармейцев под напором огромной лавины казаков.

Авторитет политических работников в крестьянских полках держался исключительно как авторитет отличных, мужественных и честных воинов Красной Армии. Николай Николаевич в этом отношении почитался чрезвычайно, и среди бойцов его все время ставили лучшим примером.

К началу марта позиции находились около Порт-Артура – крошечного и вдребезги разбитого поселка, стоявшего на дороге к станице Сломихинской (от Алгая на несколько десятков верст); через эту станицу можно было выйти к большому пути – Уральск – Лбищенск – Сахарная – Гурьев. Армия, центр которой был в Уральске, предполагала на ближайшее время открыть общее наступление и путем комбинированных действий отогнать сначала казаков от Уральска возможно дальше, а потом и вовсе уничтожить белую казачью армию. Со стороны Александрова-Гая удар должен был направиться на станицу Сломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чижинские болота, выходя на большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим маневром перерезался путь казачьим частям, отступающим под натиском красных войск со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью.

Как только приехал в станицу, Федор направился к политотделу. Там провели его к Николаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, с мохнатейшей папахой на голове, в валенках, он сидел в пустом, высоком, совершенно нетопленном кабинете. Сидел один и красными, от холода дрожащими пальцами рылся в ворохе бумаг, лежавших на столе.

Убранство в кабинете убогое: стол да стул – больше ничего. А на столе – огрызок деревянного грошовой карандаша, лампадка с подозрительной грязнотцой, видимо – чернила, измызганная ручка, похожая скорей на восковую свечу, самодельный пресс-папье, две политические книжки, какой-то «деловой» журнал и целый ворох, беспорядочная рыхлая куча разнокалиберных бумаг. Поздоровались, познакомились. Федор показал ему телеграмму, в которой Фрунзе говорил, что «тов. Клычков направляется для ведения политической работы в александрово-гайской группе». (Бригада развертывалась в группу, придавались новые части.)

Ежиков посмотрел на бумажку как-то рассеянно и возвратил ее молча Федору. А потом неожиданно:

– Пойдемте-ка, – говорит, – я вас устрою. Чаю, што ли, напьетесь, да и отдохнете с дороги-то.

Федору хотелось теперь же повести с Ежиковым деловой разговор, выяснить общее военное положение, состояние политической работы, перспективы, принятые меры, возможности, – словом, с места в карьер. Но Ежиков так его быстро и заботливо препроводил к себе на квартиру, так охотно раздобыл кипятку и хлеба, что деловой разговор пока что пришлось отложить. Комнату занимал он в огромной пустующей квартире; посредине – зал, с боков – комнатухи; в одну из них поместился и Федор. В зале стоял рояль, и Ежиков, лишь только усадил Федора за стол, подошел и одну за другой стал плохонько наигрывать революционные песни. В комнате было холодно и гулко.

Мало-помалу завязался разговор. Федор смотрел на молодое бледное и суровое лицо Николая Николаевича, любовался им и чувствовал неизъяснимую радость от сознания, что такой хороший парень руководит здесь политической работой. Как это обычно случается, они в течение одного часа успели друг другу сообщить свои биографии, историю и обстановку своей минувшей партийной работы, как угодили на фронт и чего ожидают в близком будущем. Разговор как будто развивался вполне нормально, а Федору все казалось, что Ежиков не то куда-нибудь торопится, не то нервничает, не то обижен чем-то и недоволен. По лицу было видно, что это прямой, открытый и простой человек, а тут он и в глаза-то Федору ни разу не посмотрел прямо, – все мигает да смотрит в землю, потирает руки, не сидит на одном месте,

то и дело вскакивает, посмеивается искусственно и неискренне, слишком предупредительно и поспешно со всем соглашается...

«Что за черт, в чем тут дело?» – задавал себе Федор вопрос и не знал, как ответить, как понять Ежикова.

Пришли в политотдел, в холодный кабинет, и здесь разговор сам собою принял почти официальное направление. Ежиков сам говорил мало и ни о чем не рассказывал, а только выслушивал Федоровы вопросы и коротко на них отвечал – неохотно, сухо, как будто даже пренебрежительно. Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ежиков встречал его обрадованно и затевал разговор бесконечно длинный и, по всей видимости, совершенно ненужный. Если бы в Ежикове вообще можно было предположить болтуна – чему ж тут было бы удивляться? Но Федор правильно определил, что тот – даже вовсе наоборот – скуп на разговоры и особенно в деловой обстановке: тут он или отдает распоряжения, или осведомляет и объясняет лишь настолько, насколько требует само дело. Поэтому искусственная болтливость Николая Николаевича опять-таки показалась Клычкову ненормальной, и снова удивился он, почему бы это отвлекаться Ежикову от разговора с ним, Федором, и так радоваться первому входящему сотруднику?

Из коротких ответов можно было заключить, что партийные ячейки всюду существуют; товарищеские суды работают отлично; литература есть; лекции, собрания и митинги проводятся регулярно и успешно и т. д. и т. д., – одним словом, дело поставлено образцово, и Федору «ставить и развивать» работу, пожалуй что, и не придется, поскольку он приехал ко всему готовому...

Признаться откровенно, Федор и сам чувствовал себя довольно затруднительно, приступая к новому виду работы. Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал и поэтому «учить» Ежикова не мог, да и приехал он с самым искренним желанием работать – *не командовать, а работать*: вопрос о субординации вовсе его не занимал. С первой же беседы он об этом откровенно сообщил Николаю Николаевичу и по глухому мычанию того не разобрал, хорошо или дурно принял он его откровенность. Беседуя теперь в кабинете и получая скупые, выведенные ответы, Клычков решил действовать сугубо осторожно и тактично, ибо заподозрил, что тот обижен его назначением, которое ставило Ежикова в подчиненное положение и сводило с пьедестала, на котором он укрепился как в бригаде, так и в самом Алгае. До сих пор он был *единственным* авторитетным политическим центром: к нему сходились все нити, у него все и всегда искали ответа – только у него одного, больше ни у кого. А тут вдруг приехал этот Клычков – политический голова целой группы, в которую бригада входила лишь как часть... Баста! Пьедестал может покачнуться. Клычков Ежикова может понемногу затемнить и оттеснить с господствующей позиции, – вот сомнения, которые, по мысли Федора, должны были волновать Николая Николаевича, вот причины, по которым он с нескрываемым недружелюбием стал относиться к Федору уже через полтора часа после их знакомства.

Насторожился Клычков, не стал дальше расспрашивать и чутьем организатора понял, что ему надо делать.

Во-первых, он решил ознакомиться фактически, по документам и отчетам, с работой в бригаде, если не через Ежикова, то через его помощников и сотрудников, добывая от них официальные отчеты и всякие сведения.

Во вторую очередь он решил настоять на созыве небольших совещаний-конференций партийных ячеек, культкомиссий, контрхозкомиссий, собраний военкомов и т. д. Это поможет ему сразу многое увидеть и понять.

Дальше он собрался объехать части и посмотреть там доподлинную постановку работы и, наконец, в предстоящих боях хотел участвовать лично в качестве рядового бойца и тем заслужить себе имя хорошего товарища и храброго человека. Это обстоятельство могло иметь влияние на успех или неуспех всей его дальнейшей политической работы.

Ближайшие несколько дней, вплоть до наступления, Федор осуществлял настойчиво поставленные перед собою задачи. Он уже неоднократно беседовал и в организационном, и в культурно-просветительном, и в информационном отделениях, но всюду встречал тот же предубежденный и недружелюбный прием: влияние Ежикова чувствовалось всюду. С большим трудом удалось ему все-таки получить довольно подробный отчет о состоянии работы в целом. Доклад изобилдовал общими местами, – с этим недостатком десятки, сотни раз встречался Федор и впоследствии, когда принял еще более широкую политическую работу. Как водится, изложение начинается с «Адама», затем идут указания на первоначальное «хаотическое состояние», дальше разъясняется, что «работа налаживается», но в некоторых своих частях еще «не на должной высоте»; заканчивается доклад указанием на обилие принятых «плодотворных мероприятий», которые, безусловно, упразднят все существующие недочеты.

В общем, между гордых слов можно было рассмотреть, что по полкам довольно исправно и усердно развозятся книжки и создаются библиотечки; школы грамоты вовсе прекратили свою деятельность из-за боевых операций, а когда они работали, то посещались слабо; всякие комиссии как будто существуют формально и организованы всюду, но точных сведений о работе их нет; митинги проводятся, но редко, зато вот спектакли любительскими кружками ставятся часто и посещаются охотно. В этом же роде весь доклад. Кое-какое представление о работе, конечно, давала и эта сухонькая реляция, однако же главные надежды Федор возлагал теперь на личный объезд частей и непосредственное ознакомление с работой на местах.

Попытался он созвать некоторых комиссаров – предубежденное отношение встретил и здесь; назначил собрание представителей ячеек – оно и вовсе не состоялось; назначил митинг, но политотдел оповестил худо, и собралась совершенно случайная публика, человек пятьдесят – шестьдесят. Дело не клеилось. Долго продолжаться таким образом не могло. Федор ожидал только приезда Чапаева: этот приезд, верил он, разрубит гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшегося положения.

Послезавтра – наступление. Отчего же нет до сих пор Чапаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на Казачью Таловку, к Порт-Артуру, последние части: до момента наступления они будут в исходных пунктах.

В штабе назначено последнее заседание, – окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Проведено оно будет одновременно с трех пунктов; рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом – пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось, но сам в обсуждение и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему «спецу» и думал:

«А этот – неужто предатель? И неужели весь этот пафос – одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату? А завтра, лишь только все будет готово, неужто обернутся они из друзей врагами?»

И особенно пристально, с притихшим дыханьем, всматривался он в лицо полковника, командира бригады.

«Неужели?»

Но лицо у комбрига было из тех, что не внушают опасений, – сразу к себе располагает, заставляет верить.

«А все-таки ты, комиссар, будь начеку!»

Заседание «совета» окончено. Все уходило из штаба.

Весь этот день и целый вечер один отряд за другим, транспорт за транспортом, караван за караваном уходило на Казачью Таловку. Пустел Александров-Гай. Назавтра уйдут последние: он останется осиротелый и беззащитный.

У. Чапаев

Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил – стоит незнакомый человек.

– Здравствуйте. Я – Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

– Клычков. Давно приехали?

– Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью на фронте шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли.

«Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, не большой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые – быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленье сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шапка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук...» – так записывал вечером Федор про Чапаева.

Известное дело – с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. Скоро шумною ватагой ввалились приехавшие с ним ребята: закидали все углы вещами; на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же, среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелые, суровые, мужественные лица; грубые, густые голоса; угловатые, неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У иных манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто они все время бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашивают, так же резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком... От разговоров и споров загудел весь дом: приехавшие живо и всюду «распространились», только к Ежикову в комнату не попали – она была заперта изнутри.

Через две минуты Федор видел, как один из гостей развалился у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене, закурил и пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой привалился к «туалетному» слабенькому столу, и тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то овчинным грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб, и когда его стали потом есть – воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнату крепкий, здоровенный, шумливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не разрастался, – гудел-гудел все с той же силой, как вначале: то была нормальная, обычная речь этих свежих степных людей. Попробовали бы разобраться, кто у них тут начальник, кто подчиненный! Даже намеков нет: обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет никакой видимой привязанности одного к другому или предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайших случаях, – нет ничего. А в то же время видите и чувствуете, что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита она другими узами, только отчеканилась она в своеобразную форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лишений и

опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка, – вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.

Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он не выглядел столь примитивным, не держался так, как все: словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему было тоже несколько особенное, – знаете, как иногда вот по стеклу ползает муха. Все ползает, все ползает смело, насакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу и в испуге – чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются меж собою – полная непринужденность; могут и ляпнуть, что на ум взбредет, и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапогом, плеснуть, положим, кипятком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев – этих вольностей с ним уж нет. Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.

Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при Чапаеве ни держались, как бы ни шумели, ни ругались шестиэтажно: лишь соприкоснутся – картинка меняется вмиг. Так любили и так уважали.

– Петька, в комендантскую! – скомандовал Чапаев.

И сразу отделился и молча побежал Петька – маленький, худенький черномазик, числившийся «для особенных поручений».

– Я через два часа еду, лошади штобы враз готовы! Верховых вперед отошлешь, нам с Поповым санки – живо! Ты, Попов, со мной!

И властно кивнул головой Чапаев желтолицему сутулому парню. Парню было годов тридцать пять. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний крик. При могучей, коренастой фигурище были странны мягкие, словно девичьи движенья. Попов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева – враз остыл, стушил, как свечу, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьезно Чапаеву в глаза ответным взглядом и глазами ему сказал:

«Слышу!»

Тогда Чапаев скомандовал дальше:

– Кроме – никого! Комиссар вот еще поедет да конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру!

– Слушай... – оглянулся Чапаев кругом и увидел, что нет, кого искал. – Да... уснул же его... Ну, ты, Кочнев, иди посмотри в штабе. Если все собрались – скажешь.

Кочнев вышел. Он показался Федору гимнастом – такой быстрый, легкий, гибкий, жилистый. Короткая телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапчонка на затылке, на ногах штиблеты, до колен обмотки. Годов ему меньше тридцати, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий и влажный, он им шмыгает и как-то все плутовски его набок искривляет. Зубы белые, волчьи, здоровеннейшие; когда смеется – хищно оскаливает, будто собираясь изгрызть в лоскутья.

Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжими бровями, пышными багровыми усами, крокодильей пастью, монгольскими скулами; как пиявка, налитая кровью, – отвисла нижняя губа, квадратом выпер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне, потный и рыхлый нос. Под рыжими рогожами бровей – как угли, Чековы глаза. Широка и крута у Чекова грудь, тяжелого веса лапы-лопаты. Чекову сорок лет с пустяком.

Возился с чайниками, резал хлеб, острил впропалую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал Теткин Илья, заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый охотник до песен, до игры, до забавы. Годами чуть постарше Петьки: двадцать шесть – двадцать восемь.

Рядом стоит и ждет, терпеливо, молча, хлеба от Теткина – Вихорь, лихой кавалерист, горячий командир конных разведчиков, на левой руке без мизинца. Это обстоятельство – мишень для острот:

- Вихорь, ткни его мизинцем, беспалого хрена!
- А мизинчик покажешь – сигарку дам...
- Десятипалая брында... Кобель десятиногой!

Вихоря трудно возмутить: от природы таков, всегда таков, и в бою таков. Много молча может сделать человек!

Больше всех толкался, крепче всех бранился и шумел Шмарин, – в дубленой поддевке, в валенках (все зябнет, больной), с хриплым, как у Попова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, изо всех самый старший: ему под пятьдесят.

Кучер Аверька, парнишка, – тут же со всеми, оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо у Аверьки багровое, нос – что луковица, глаза с морозов осоловелые, губы обветренные в трещинах, на шее намотан платок, – с ним и спит.

Из вестовых постоянный и любимый – Лексей, давний знакомый Чапаеву, дотошный, изворотливый парень. Когда что надо достать – посылается Лексей – все добудет, все приготовит и принесет. Перекусить ли надо, чеку на повозку али ремешок к седлу, лекарства домашнего раздобыть – никого не посылают, кроме Лексея: самый ловкий кругом человек.

И что за народец собрался! Как только лицо – так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму.

У каждого свое. Нет двоих, чтоб одно: парень к парню, как камень к камню. А вместе все – перевитое и свитое молодецкое гнездо. Одна семья! Да какая семья!

Вошел Кочнев:

- Командир бригады в штабе, можно идти...

Зашумело легкое шевеленье – любопытство осветило не одну пару на Чапаева устремленных глаз.

– Идем!

И Чапаев мотнул головой Попову, ткнул пальцем Шмарину и Вихорю. Зазвенели шпорами, грузно застучали обитыми в подковы каблуками, вышли. Федор вместе с ними. Федору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивал со своею «свитой». Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска, и он вспомнил, как рассказывали про Чапаева, будто в 1918 году, во время боя, когда он был с войсками окружен, а некий комиссар порастерялся, – отхлестал его Чапаев нагайкой на возу... Вспомнил – затревожило скверное чувство. Знал, что могли все это и выдумать, могли и преувеличить, поразукрасить, но отчего же и не поверить: тогда и времена были не те, и сам Чапаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий! Федор шел сзади, и уже одно то, что шел он сзади, было неприятно.

С командиром бригады Чапаев поздоровался наскоро, отрывисто, глядя в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом подвытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. О Чапаеве был он очень наслышан, только больше все со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае – знал про Чапаева-чудака, а дельных дел за ним – не слыхал, степным летучкам про геройство чапаевское – не верил.

Изо всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей «домашние», когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышались о Чапаеве страхов разных не только один комбриг. В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет?... Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступления. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

– Циркуль.

Ему дали плохонький оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал, – не нравится.

– Вихорь, поди у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана – по ней стал выклеивать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах...

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты разворачивались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.

Чапаев шел в наступление!

Когда окончил вымеривать – указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно, иной раз смеялся тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихорю, то к Попову, то к Шмарину:

– А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет говорю?

Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присутствия, да и мало что можно было им добавить – так подробно и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили:

«Чапаеву всегда не мешай... Ему вот как: ум хорошо, а два хуже...»

Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бранится, клянет себя. И не забыть еще ребятам одного «совещания», когда они в горячке наговорили бог знает что. Чапаев слушал, долго слушал, и даже все поддакивал:

– Так, так... Да... Хорошо... Вот-вот-вот... Оч-чень хорошо...

Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили:

– Ну ладно, – говорит, – вот што надо делать: на все, што болтали, плюнуть и забыть: никуда не годится. Теперь слушайте, что стану я приказывать!

И зачал...

Да так зачал, что вовсе по-другому дело повернул – и похожего не осталось нисколечко из того, про что так долго совещались.

На совещании том были все трое – помнили его, и теперь уж лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя:

«Иной раз и совет, может, следует подать, это верно, а то – и словом одним беды натворишь!»

Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор: он-то не цепко еще разбирался в военных вопросах и кой-какие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял, – это уж потом, через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью, а теперь – чего же со «шляпы гражданской» было и спрашивать.

Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засматривал глубокомысленно по карте и на чертеж, то схмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный, со стороны можно было подумать, что и он тут всем равноценный собеседник... Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать вначале разговоров чисто военных, чтоб не показаться окончательным профаном; повести с ним политические

беседы, где Федор будет, бесспорно, сильнее; вызвать его на откровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии, – и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... Потом зарекомендовать себя храбрым воином, – это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом пролетит, никакая тут политика, наука, личные качества не помогут! Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и Чапаев пораскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока – пока держаться осторожно! Не была бы предупредительность и внимательность понята и принята за подслуживание к «герою». (Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно.) Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора, может быть, чему-нибудь у него учиться, – лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору – ни-ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке-интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебрежением.

Все эти приготовления Клычкова отнюдь не были пустяками, они помогли ему самым простым, коротким и верным путем войти в среду, с которой начинал он работать, а во имя этой работы – срастись с нею органически. Он не знал еще, где будут границы «срастания», но отлично понимал, что Чапаев и чапаевцы, вся эта полупартизанская масса и образ ее действий – такое сложное явление, к которому зажмурившись подходить не годится. Наряду с положительными, тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и неослабно.

Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?

Федор, еще работая в тылу, слышал, конечно, и читал многократно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался – видел, что большинство их из крестьянства и очень мало – из рядов городских рабочих. Героиробочие всегда были в ином стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда несколько косо посматривал на полуанархические, партизанские затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться, восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда оставалась у него опаска. Так и теперь.

«Чапаев – герой, – рассуждал Федор с собою. – Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и ужокошит своего комиссара! Да не какого-нибудь прощельгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим „стихийным“ отрядом...»

Рабочие – там другое дело: они *не уйдут никогда, ни при какой обстановке*, то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками. Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело. А в этой вот чапаевской партизанской удали – ой, как много в ней опасного!»

При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Федора желание самым тонким способом установить свои отношения с новой средой, – с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а, наоборот, взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя – с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание...

Петька – так почти все по привычке звали Исаева – высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Попова и сунул ему записку. Там значилось:

«Лошыди и вся готовый дылажи Василей Иванычу».

Петька знал, что в некоторые места и при некоторой обстановке вваливаться ему нельзя – и тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приемом дел отняла немного времени.

– Я командовать приехал, – заявил Чапаев, – а не с бумажонками возиться. Для них писаря есть.

– Василь Иваныч, – шепнул ему Попов, – вижу, ты кончил. Все готово, ехать можно.

– Готово? Едем!

Поднялся Чапаев быстро со стула.

Все расступились, и он вышел первый – так же, как первым вошел сюда.

На воле, у крыльца, собралась толпа красноармейцев, – услышали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году, многие знали лично, а слышали, конечно, все до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей.

– Да здравствует Чапаев! – гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошел с лестницы.

– Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла.

– Товарищи! – обратился Чапаев.

Вмиг все смолкло.

– Мне некогда сейчас говорить, – еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь – прощайте!..

Раскатились новые катанцы «ура». Чапаев уселся в санки, за ним примостился Попов. Трое конных ждали тут же. Федору подвели вороного шустрого жеребца.

– Айда! – крикнул Чапаев.

Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так шпалерами и ехали до самой окраины Алтая.

Степная снежная пустыня однообразна и скучна. В прошедшие теплые дни бугорки оплешивились было до самой земли, а теперь и их занесло; всю степь позавеяло, схрустнуло морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к другому, можно подумать – переругались: обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четыре шагах за повозкой поспевают всадники, ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянии, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит в карьер. И любо скакать по степи, благо конь так легок, охоч на скак.

«Завтрашним днем, – думал он, едучи зыбкой рысью, – открывается полоса боевой, настоящей жизни... И завертит-покатится она – надолго ли? Кто может знать судьбу ее? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днем, день за днем в походах проскачут, в боях, в опасностях, в тревоге... Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные Палестины, кто останется здесь по черным логовам, по снежным пустырям степей?»

И полезли в голову житейские воспоминания, встали милые, знакомые лица... И сам себе представлялся убитым: лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным виском. Даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь – стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный: смешком посыпал свою смерть.

Так прошло часа два с половиной. Чапаю², видимо, надоело сидеть недвижно, – остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.

– Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?

– Вместе, – ответил Федор и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным.

«Тряхнуть покрепче – и вон полечу, – подумалось ему. – Вот Чапаев, глянь-ка, – этот уж нипочем не выскочит».

– Вы давно воевать-то начали?

И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония. «Знает, дескать, что на фронте я только-только, ну и подшучивает».

– Теперь вот начинаю...

– А то по тылам были? – опять спросил Чапаев.

И опять вопрос язвительный.

Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву, – это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.

– По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали... – с деланной небрежностью обронил Федор.

– Это за Москвой?

– За Москвой, верст триста будет.

– Ну, и што там, как дела-то идут?

Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью, и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.

– Выходит, плохо живут, – согласился серьезно Чапаев, – а все из-за голоду. Кабы голоду не было – на-ка: да тут все и дело по-другому пошло б... А жрут-то как, сукины дети, не думают небось о том...

– Кто жрет? – не понял Федор.

– Казачье... Ништо ему нипочем...

– Ну, не все же казачество такое...

– Все! – вскрикнул Чапаев. – Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там... д-да!

Чапаев нервно забулькал в седле.

– Не может быть все, – протестовал Федор. – Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постоит-ка, – вспомнил он с радостным волнением, – хоть бы и у нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

– В бригаде? – чуть задумался Чапаев.

– Да-да, – у нас, в бригаде!

– А это, надо быть, городские... здешние вряд ли, – с трудом поддавался на доводы Чапай.

– Я уж не знаю, городские ли, но факт налицо... Да и не может быть, товарищ Чапаев, чтобы все казачество, ну, *все* было против нас. По существу-то дела этого не может быть...

– Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...

– Нет, сколько бы ни был я – все равно: не поверю!

Голос у Федора был крепок и строг.

– Про отдельных чего говорить, – стал слегка сдаваться Чапаев. – Конечно дело, попадают – да мало, нет нисколько...

² Близкие часто его звали просто «Чапай».

– Нет, не отдельные... Вы это напрасно... Вот пишут из Туркестана – на целую там область казацкие полки установили Советскую власть... А на Украине, на Дону... да мало ли?

– Надейтесь, они вот покажут... сукин хвост!

– Ну, чего же надеяться, я не надеюсь, – пояснил Чапаю Клычков, – и в вашем мнении правды много... Это верно, что казачество – воронье черное, верно... Кто ж против того? Царская власть на то о них и заботилась... Но вы посмотрите на казацкую молодежь, – эта уж не старикам чета... Из молодежи-то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело, труднее мириться с Советской властью... во всяком случае, теперь трудно, пока не понял он ее... Ведь думают черт знает что про нас и всему-то верят: церкви, говорят, в хлевы коровьи превращаем, жены у нас у всех общие, жить загоняем всех вместе, пить и есть вместе – за один стол непременно... Где же тут помириться казаку, если он из рода в род привык и к церкви, и к своему сытому, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной, своевольной жизни?

– Иксплататоры, – выговорил с трудом Чапаев.

– Именно, – сдержал Федор улыбку. – В эксплуатации-то вся суть дела и есть. Богатые казаки эксплуатируют не только ведь иногородних или киргизов, они и своим братом казаком не побрезгают... Тут вот разлад-то и происходит. Только старики, хоть они и обиженные, помирились с этим, считают, что сам бог так устроил, а молодежь – эта проще, посмелее на дело смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Стариков – этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять...

– Оружием-то оружием, – встряхнул головою Чапаев, – да воевать трудно, а то бы што...

Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разуместь что-то надо особое под этими словами... Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьет свою мысль.

– Центры наши – вот што... – бросил неопределенно Чапаев еще одну заманчивую темную фразу.

– Какие центры?

– Да вот, напихали там всякую сволочь, – бормотал Чапаев будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал. – Он меня прежде под ружьем, сукин сын, да на морозе целыми сутками держал, а тут пожалуйста... Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, можете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками дерутся...

Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос – о штабах, о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение, – вопрос, в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву и не только Чапаевым.

– Без генералов не обойдешься, – буркнул ему успокоительно Клычков, – без генералов что же за война?

– Как есть обойдемся...

Чапаев крепко смял повод.

– Не обойдемся, товарищ Чапаев... Удалью одной большого дела не сделаешь – знания нужны, а где они у нас? Кто их, знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они и нас должны учить... Будет время – свои у нас учителя будут, но пока же нет их... Нет или есть? То-то! А раз нет, у других учиться надо!

– Учиться? Д-да! А чему они-то научат? Чему? – горячо возразил Чапаев. – Вы думаете, скажут, что делать надо?... Поди-ка, сказали!.. Был я и сам в академии у них, два месяца болтался, как хрен во щах, а потом плюнул да опять сюда. Делать нечего там нашему брату... Один – Печкин вот, профессор есть, гладкий, как колено, – на экзамене:

– Знаешь, – говорит, – Рейн-реку?

А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?

– Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты, – говорю, – знаешь Солянку-реку?

Он вытаращил глаза – не ждал этого, да:

– Нет, – говорит, – не знаю. А што?

– Значит, и спрашивать нечего... А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... Што мне твой-то Рейн, на кой он черт? А на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому что с казаками мы воюем тут!

Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и подумал:

«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенческие мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего-то не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо...»

– Мало побыли в академии-то, – сказал Федор. – В два месяца всего не усвоишь... Трудно это...

– Хоть бы и совсем там не бывать, – махнул рукой Чапаев. – Меня учить нечему, я и сам все знаю...

– Нет, оно как же не учиться, – возразил Федор. – Учиться всегда есть чему.

– Да, есть, только не там, – подхватил возбужденный Чапай. – Я знаю, што есть... И буду учиться... Я скажу вам... Как фамилия-то ваша?

– Клычков.

– Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну да што уж – другой раз поговорим... Да вон, надо быть, и Таловку-то видно...

Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали Попова. Через десять минут въезжали в Казачью Таловку.

VI. Сломихинский бой

Казачья Таловка – это крошечный, дотла сожженный поселок, где уцелели три смуглых мазанки да неуклюже и долговязо торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами, – они прибились здесь в ожиданье похода.

Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших разговору.

Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизкое чайное блюдо, сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступления. Чапаев сидел посредине лавки. Обе руки положены на стол: в одной – циркуль, в другой – отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом, – то облокотились, то склонились, перегнулись над столом и все всматривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломаным шагом – маленьким белым циркулем. Федор и Попов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу сказать, никакого совещанья и не было, – Чапаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить.

Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные указания и советы. В серьезной тишине только и слышно было чапаевский властный голос, да свисты, да хрипы спящих бойцов. Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед грязной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спроне – не мог ничего сообразить.

– Тише ты, брюква, – погрозил парню сердито.

– Ково тише?

И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.

Парня привели в себя, дав тумака в спину: он поднялся, протер глаза, узнал, что тут Чапаев, – и сам, приподнявшись кротко на носки, до самого конца вслушивался внимательно в его речь, может, и не понимая даже того, что говорит командир.

Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы. Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.

Чапаев продолжал поучение:

– ...если не сразу – не выйдет тут ничего: непременно враз! Как наскочил – тут ему некуда шагу подать... Всех отсюда спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до зари надо быть. Штобы все в темноте, когда и свету нет настоящего, – понятно?

Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:

– Поняли... Конечно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...

– Приказ у вас на руках, – продолжал Чапаев, – там у меня часы все указаны, где остановиться, когда подыматься в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не ходи лучше... Я указал только часы да места, на этом одном не победишь, – самому все надо доделать... И первое дело – осторожность: никто не должен узнать, што пошли в наступление, ни-ни... Узнают – пропало дело... Коли попал на дороге казак али киргиз, да и мужик, все одно, – задержать, не пущать, – потом разберем.

– Есть таковые, – молвил кто-то из угла.

– Есть, и держи, – подхватил Чапаев весело. – Ты на него, на казака-то, оглядывайся со всех сторон. Знаешь, какой он есть: выскочил враз с-под стола... Он тута дома, все дорожки,

овраги все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком... будешь сусолить, – он тебя сам в жилу вытянет...

– Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной...

Деловая часть беседы кончена.

Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахара – шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным, чугунным сном, попросыпались недоуменные: кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью – как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток минут отодвинули столик на серединку, а вокруг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, приникли на полу. Церковная желтая свечушка поблескивала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да восковые пятна вместо лиц.

Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной, новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар – так что ж из того?! В военном деле он указать пока ничего не мог; политикой тут не время пока заниматься, – откуда же его и заметить? «Будет время, сойдемся, – подумал он про себя, – а теперь можно и в тени постоять».

Он даже одиноким себя почувствовал среди этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них – вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок, – и он тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова... А как они все чтили своего Чапая! Лишь только обратится к которому – обалдеет человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли похвалой подарит малой – хваленый ее никогда не забудет! Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку – это каждому величайшая гордость; потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быть сдобряя чудесной небылицей.

Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. Слушал.

Запевал сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было немного, всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его товарищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежли перекричит – охрипнет и дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обстановочка, что ему измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда, – непременно выкроит хоть десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать – не сыскать: ему песни были – как хлеб, как вода. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную не отставали от Чапая.

Ты, моряк, красив собою,
Тебе от роду двадцать лет,
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?

Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бессодержательная. И любил ее Чапаев больше за припев – он так паялся хорошо с этой партизанной, кочевой, беспокойной жизнью:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!

Эх, по морям-морям-морям,
Нынче здесь, а завтра там!

Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу, неистово ржал над степями. Потом про Сеньку любили, про Чуркина-атамана и о том, как:

Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...

Так пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись кто где словчился, – уснули. Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться чуть станет светать. Наступали с трех сторон, полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре, ударял на самую станицу; два других с флангов огибали полукруг.

Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отпратить вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно, и нет нигде мрачнейших знаков близкого боя.

Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло, – нет, не уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветра, что гудит неумно в груди в эту первую ночь перед первым боем.

Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешеченные пулями сквозь, – им что! И ничего для них тут нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких ночей отхрапели немало, эти ночи не различны для них с другими, тихими ночами. Но у каждого, непременно у каждого, была здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь». И тогда он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных противоречий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств.

Не спалось. И не только не спалось – тяжело было необъяснимой, небывалой тяжестью. Посмотрит кругом, – при мертвенном взблеске церковного огарка видно, как разбросались, скорчились, перевилились на полу бойцы в общей куче, без разбору.

«Так же вот на поле битвы, верно, валяются трупы, в беспорядке, в агонией скрученных позах, то грудками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулеметами бойцов».

В полумраке и лица казались бледней, как в мертвецкой, и храпы, – то срываясь залпами, то раскатываясь протяжными свистами и вздохами, – напоминали стоны...

Федор вышел из халупы, чувствовал, что не заснуть. Не лучше ли на ядреный воздух морозной ночи? А ночь тихая, черная, степная. Высоко в небе зеленые звезды. Ветер легкий и вольный, какой бывает только в степи.

Среди развалин сожженной станицы, под открытым небом расположился полк. Кой-где у догоравших костров можно было рассмотреть склоненные фигуры одиноко сидевших бойцов: то дежурные, то, как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей, не знающие, как перед боем скоротать ненасытное время. Они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи, – дров в степи не достать, – озабоченно шевелили уголья, чтобы не стух костер, не остаться бы в черной, глухущей тьме. Там, где сомкнулись трое-четверо вокруг костра, идет возня с котелками, там варят похлебку и чай, пропадает дальним громом рокочущий хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предходные часы.

А ночь темнущая-темная. И строгая. Оползла кругом, опоясалась страхами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов, – они только жутче заострили молчание степи.

В степи, у развалин, будто привидения, ворочались плавно и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры и так же внезапно,

быстро исчезали в черную бездну ночи. Во всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя!

Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в ожидании утреннего боя, – все они, эти ночи, похожи одна на другую своею строгой серьезностью, своим углубленным и сумрачным величием. В такую ночь, проходя по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданиях, об этих вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются безвестные на полях гражданской войны.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зверковые ямки, нарытые вспешку крошечным заступом или просто отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет: они, безмолвные и недвижные, останутся лежать на пустынном поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев воронью, – такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов, – каждый из них отдал все, что имел, и без остатка и молча, без барабанного боя, никем не uznанный, никем не прославленный, – выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»

Федор увидел, как здоровенный кудрявый парень склонился над огнем, возится с картошкой, перевортывает, прокаливает ее на холодеющих углях костра... Он нет-нет да и сунет в пепел штык, выхватит оттуда пронзенную картошку, пощупает пальцем, робко к губам ее поднесет, – из огня-то! И живо отплюнет, сошвырнет с острия обратно в пепел: он весь поглощен своим невинным занятием. Верно, и у него в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспоминаний?.. О чем он думает так сосредоточенно, вперившись неотрывным взором в потухающий костер? Уж непременно о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фронта и к которой вернулся бы, – ах, вернулся бы с какой радостью и охотой! Да мало ли что передумает он в эту ночь... А вот поутру привезут его, может, сюда же – с оторванной ногой, с пробитой грудью, с расколотым черепом... И будет страшно хрипеть, медленно, и напрасно, с зубовным скрежетом распрямлять перебитые хрусткие члены, будет страшен и дик, весь залитый кровью, весь облепленный кровавыми багровыми сгустками... Снимут эту вот, кем-то нежно любимую черную шапку кудрей, обреют широкую круглую голову и станут копаться в чутком окровавленном теле стальными ножами и иглами... Брр...

А сосед, вон этот мужичок, что с рыжей бородой, уж немолод – ему под сорок годов. Тоже не без думы сидит. И ничего-то, ни словечка единого не говорят они друг с другом: оба полны своими особыми думами, у каждого теперь обостренно, учащенно пульсирует собственная, связанная со всеми и ото всех особенная жизнь... Не до разговоров – тут речь не к месту. Он сидит, рыжебородый мужичок, будто смерз и остыл в недвижной позе: руки скрестил по животу, вобрал под себя охолодевшие ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру – и думает. Завтра он так же, быть может, без движения, останется лежать на снежной равнине, среди других, как он, отработанных в трупы, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре... Только в одном, в единственном месте – около виска, снег пробуравит черною дыркой алая кровь... больше не будет кругом никаких следов.

Эти вот худенькие веснушчатые руки уж не будут сложены на животе – они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взор будет так же неподвижен, как теперь: мертвый, остывший взор похолоделого трупа.

Федор живо себе представил эти мертвые картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат...

– Кто идет? – окликнул часовой.

– Свой, товарищ...

– Пропуск?..

– Затвор...

Часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку, пожал от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.

Федор вернулся в халупу – там неистовый метался храп и свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами, изловчился, протиснулся, изогнулся, лег... Лег – и уснул.

Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали Порт-Артуром это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.